

**ЖАН БЛО**

Писатель

Жан Бло — литературный псевдоним Александра Арнольдовича Блока, французского писателя русского происхождения, выдающегося общественного деятеля, доктора филологии и права.

Он родился в Москве в 1923 году, а в 1924-м его семья эмигрировала во Францию. Во время Второй мировой войны Александр Блок принимал активное участие во французском движении Сопротивления.

Работал переводчиком в ООН с момента её создания в 1946 году. Долгое время являлся сотрудником ЮНЕСКО.

В 1982 году стал генеральным секретарём международного ПЕН-клуба, впоследствии являлся президентом его французского отделения. Благодаря его усилиям представительства ПЕН-клуба открылись в Москве и Санкт-Петербурге, что дало возможность российским писателям присоединиться к мировому сообществу независимых литераторов.

За свою жизнь Александр Блок встречался со многими выдающимися личностями XX века: Анной Ахматовой, Владимиром Набоковым, Альбертом Камю, Хулио Кортасаром, Лоренсом Дарреллом, Эженом Ионеско и др. Автор более тридцати книг, эссе, публикаций, переведённых на многие языки. Его книги о Гончарове, Набокове, Александре Блоке, а также книга о судьбе России в XX веке, переведены на русский язык и издаются в Санкт-Петербурге с 1999 года.

Будучи гражданином мира, Александр Блок через всю жизнь пронёс любовь к России.

Его оригинальный взгляд на исторические события, на развитие литературы и культуры, на судьбы России и Франции в XX веке, знание культурного и духовного наследия русской эмиграции — всё это бесценно и будет интересно широкому кругу читателей.

Книга Жана Бло «В Петербурге мы сойдёмся снова», которую мы представляем в этом выпуске Альманаха, посвящена культуре и истории Петербурга и сложилась во многом из докладов, прочитанных на международных конференциях «Феномен Петербурга» в 1999–2003 годах. Она готовится к выходу в 2011 году в издательстве «Русско-Балтийский информационный центр „БЛИЦ“».

Начинаем же мы публикацию с эссе Жана Бло о его друге Сергее Самарине.

**СЕРГЕЙ САМАРИН. АЭД ЭМИГРАЦИИ**

«Потому что это был он, потому что это был я», — написал Монтень, объясняя дружбу, которая связывала его с Ла Боэси. Я осмеюсь сказать это и о той столь же яркой, столь же трудно объяснимой дружбе, что связывала меня с Сергеем Самариным. Но сначала я хочу выразить благодарность Дмитрию Ивашинцову — издателю, который вернул мне свет этой дружбы спустя двадцать лет после ухода друга. Он сделал больше. Он открыл для себя и откроет для русских (и я хотел бы сказать — для России) книгу, которая, я уверен, необходима ей в её сегодняшнем стремлении постичь и возродить себя, вновь обретая своё прошлое. Столь же значительная, как и число (около двух миллионов) эмигрантов, часть прошлого России, её традиций и её живой культуры, вместе с людьми, с их умом и талантом была

унесена эмиграцией в изгнание. Сергей Самарин, выходец из древнего аристократического рода, сын этой эмиграции, представляется мне одним из лучших её выразителей, а также толкователем, рассказчиком и, в полном смысле слова, Аэдом, поэтом этой трагедии.

С той остротой ума, которая всегда восхищала меня, он сумел ухватить мифологическую и назидательную значимость и в то же время мучительную, иногда комичную, повседневную реальность этой драмы Истории. Оказавшись среди самых неимущих и происходя из самых знатных, а потому наиболее жестоко и остро задетых кругов, он по праву принадлежал к тем, у кого из родового имущества осталось только одно: гордость.

Эта нищета и это богатство — Самарин сумеет выразить их с силой и изяществом, присущими той породе людей, последним представителем которой он в определённой степени являлся. Тщетно искать в его книге сетований на столь жестокую участь. «Крушение» — это роман сожаления. Дети побеждённой аристократии, воспитанные в кадетских корпусах, не простили себе поражения отцов. Их спартанское воспитание, яркое красками и богатое романтическими эпизодами, имело только одну цель: возрождение Империи.

Автор знает, что между Ангелом Правды и Ангелом Вымысла, которых он призывает на блестяще написанные страницы, выбирать запрещено, и что надо будет неустанно следить за тем, чтобы самая подлинная реалистичность описания приводила, однако, к той мифической точке, где Реальность обнаруживает и утверждает свой смысл. Ежедневные лишения, незащитность перед ксенофобией, обостряемой тем, что поверженная, впавшая в бедность аристократия в сырых, травимых консервами пригородах ревностно сохраняет непринуждённый стиль жизни и изысканные манеры элиты, обретут постоянство и величие. Так будет с профессорами и воспитанниками Школы кадетов, чьё соприкосновение с мифом находит поддержку в детском видении мира, вновь обрётённом автором, и особенно в образе бунта, который вот-вот сокрушит учебное заведение, раскрывая смысл усвоенных уроков жестокости и в то же время горячность возраста, требующего возвращения того, что старшие потеряли и обесславили.

Надо отдать должное этому роману: ни русского слова, ни слова о России там не произнесено. Беда — ничто, если она не образец. Она обретает свой смысл, только становясь им. Будут говорить об Империи и Событиях, то есть об Октябрьской революции, которая, перевернув действительность, сумела вернуть словам их смысл и величие. Иначе обстоит дело с Сенатрисой. Если её образ предстаёт перед нами во всей его чуть ли не мифической властности, то мы можем, тем не менее, распознать в нём прекрасную мать, которая, рождённая на вершине общества (Осоргина), смогла в одиночку и не потеряв княжеской гордости, вопреки и через все горести и трудности воспитать пятерых детей.

Не тот ли изобретательный Ангел Вымысла, вмешавшись в реальную жизнь и перетасовав судьбы и события, подарит семье виллу в Нормандии? Вся семья переедет на побережье, оставаясь всё такой же бедной и такой же русской, поддерживая эмиграцию и способствуя её обособленности и независимости, приглашая всё больше семей эмигрантов, которые на раскладушках — привилегированной мебели эмигранта — будут сменять друг друга, чтобы подышать целебным морским воздухом. Читатель угадает, что, так же как и в истории о Кадетском корпусе, только в иной тональности, события перекликаются с биографией автора. Поскольку Сергей Самарин был не понаслышке знаком с Кадетским корпусом: он был там воспитан, и его чувственность, многие пассажи о которой исполнены очарования, останется узнанием спартанского воспитания, полученного в детстве. Самарин жил в Нормандии (восхитительное описание которой даёт) в крайней нужде, на надрыбе, до судорог души сохраняя чувство собственного достоинства, но не потеряв той яркости и язвительности ума, которые поражали всех, кому выпадала удача (нет, привилегия!) быть с ним знакомым. Так как во время оккупации он оставался в Нормандии, отрешившись от происходящего (угнетение одного чужака другим не могло затронуть его, такие ценности, как справедливость и свобода, казались ему нелепыми после крушения Империи, за которым мог последовать только хаос), за что я, участник Сопротивления, маки, не переставал его упрекать (в течение тридцати лет это было неизменным предметом наших споров), он сумел «завоевать» Париж периода Освобождения, продолжить там литературные и философские занятия, достичь того высокого уровня образованности, который впечатлял каждого. И в частности меня, когда я познакомился с ним в Нью-Йорке, в коридорах ООН, где он занимал должность переводчика, оплачиваемую достаточно хорошо, чтобы содержать всю семью. Мне выпала такая же удача. Мы встречались повсюду — в Женеве и Греции, в Вене и Париже. За исключением очаровательности женского пола, любви к мысли и к поэзии, мы ни в чём не соглашались друг с другом. И что же? Это был он. Это был я. Мы никогда не забывали об этом.

Но вернёмся к произведению. Этот роман — единственный оставленный нам Сергеем Самариным... и этого достаточно. Вспоминая его, я не могу не избегать громких слов, которые вызвали бы у него эту усмешку одним углом губ, искажённую дымом его трубки, закрывающим глаз. Тем хуже для него, что он всегда слишком насмехался над всем и более всего — над собой. Для меня «Крушение» — один из самых замечательных романов XX века. Некоторые страницы должны войти в антологии. Благодаря переводчику, издателю, которого я хочу ещё раз поблагодарить, Самарин найдёт наконец аудиторию, к которой он в первую очередь обращался, Россию, трагедия которой стала пыткой, но и смыслом его жизни. Если он не отрётся от пережитого и сумел как никто другой описать феномен эмиграции и её представителей, мне кажется, он единственный, кому удалось без единой нотки саможаления и само-

любования выразить эту великую трагедию и возвысить её до уровня мифа. Если благодаря переводчику и издателю книга наконец обретёт своих читателей, то нам, её почитателям, остаётся пожелать, чтобы они были многочисленны и сумели понять и полюбить её, распознав в ней роман, который возвращает России, увековечивая её, столь же горькую, сколь знаменательную часть её истории.

*Перевод с французского А. Ю. Беспярых*

## **Франкофилия — Франкомания — Франкофобия**

Глава из книги «В Петербурге мы сойдёмся снова»

По-видимому, было бы целесообразно пристальнее изучить эту «любовь-ненависть», связующую два великих народа, две великие культуры — вернее, чрезвычайно важные проявления человеческих взаимоотношений. Говоря об их русской стороне, достаточно открыть первую страницу «Войны и мира» и порассуждать о ней:

«Eh bien mon prince...» Не забываем, что это произнесено в Санкт-Петербурге. И помним, что роман, размышлять над которым я люблю, для русского человека почти то же, чем для греков были поэмы Гомера, — если не священная книга, то во всяком случае своего рода мерило и зеркало подлинности: в нём признают самих себя, познают, кто они есть, когда, кажется, себя потеряли; и эта почти священная книга отражает место галломании в Санкт-Петербурге. В Москве, если верить роману, по-французски говорят довольно плохо, ограничиваясь, как правило, изящным «Мон cher...» графа Ростова. Вот почему я позволю себе определить галломанию как феномен именно петербургский. Остальная Россия изо всех сил старается подражать ему. Но именно на берегах Невы следует ставить диагноз и наблюдать за этим безобидным заболеванием или, быть может, за этим превосходным самочувствием. Так что стоит вернуться к памятным каждому словам — знаменитой фразе светской дамы Анны Шерер:

— «Eh bien mon prince, Gènes et Lucques ne sont plus que des apanages, des pomestiés de la famille Bonaparte. Non je vous prévient que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de palier toutes les atrocités de cet Antéchrist (ma parole j'y crois!) je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon verni rab». — «Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше, как поместьями фамилии Бонапарте. Нет, я вас предупреждаю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы ещё позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста

(право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите».

Уровень владения языком очевиден. Он проявляет себя тотчас, с первых же слов — этим «Eh bien», которым она атакует, констатируя факт, заставая собеседника врасплох, не давая ему передышки и призывая в свидетели, — как нельзя более по-французски! Пусть визави, а именно князь, тотчас оценит и тему, достойную его статуса, и светскую изысканность языка, которым она изложена. Короче говоря, безукоризненный французский в Петербурге — язык аристократии. И он останется таковым — как средство отстранения от народа, который презируют и которого боятся тем сильнее, чем глубже становится пропасть между укладами и уровнями жизни. Пусть эта, причём именно петербургская, аристократия продолжает тащить, порой насильственно, свой народ туда, куда он отказывается идти. Для этой цели более пригоден язык, этим народом не понимаемый и потому позволяющий лучше, чем любой другой внешний признак, распознавать друг друга и не допускать в свой круг чужаков.

Несомненно, будучи именно внешним признаком, этот язык — язык лишь наполовину. Я хочу сказать, что мы не безнаказанно говорим на том или ином языке и что мало-помалу становимся такими, каков тот язык, на котором говорим, и *volens nolens* мы идём туда, куда ведёт он.

Он обладает своими грамматикой и лексикой, но эти грамматика и лексика — следствие или, точнее, лишь словесное выражение мироустройства, которое пронизывает язык и создаёт его. Невозможно говорить по-французски, не становясь немножко французом. Превосходная хозяйка салона Анна Шерер чувствует и это, и необходимость время от времени обретать под ногами твёрдую почву: то и дело несколькими русскими словами она убеждает себя в том, что она — это всё ещё она, русская дама, говорящая в своём кругу по-французски; она не стала некой чужестранкой-француженкой без очага и крова, единственный багаж которой — слова, ничего кроме слов, пусть прекрасных, но всего лишь слов.

Первый раз она позволяет себе оступиться на слове «*арапаге*»: это довольно редкое слово, происшедшее от старофранцузского «*арапег*» (кормить хлебом), оно означает часть королевских владений, предоставляемую младшим детям правящего дома Франции в качестве возмещения за отсутствие права на корону; в широком же смысле — нечто исключительное, привилегию. «Поместье» — довольно точный, но утративший указание на царственность (в оригинале дословно: «срезан султан со шлема». — А.Б.) перевод этого термина. Но русское слово относится к действительности российской, точнее, к социальной структуре Российской империи, а стало быть, и отражает негодование, которое она, эта структура, вызывает. После отвлечённого понятия, удачного французского слова понадобилось произнести своё, в котором таится личное переживание, и оно — русское.

Но, и это очевидно, именно следующее «вторжение» русского наиболее разоблачительно: «... vous n'êtes plus mon *verni rab*...» (выделено мной. — Ж. Б.). Нет ни слов, ни выражений более глубоких, более насыщенных смыслом и чувством, более близких к корням и первоистокам. Это православные слова — «раб Божий», слова церкви и веры, которыми русский человек утверждает свою двойную веру, свои неразрывные, объединённые традицией и уже не отличимые друг от друга веры: в Бога и в Россию. Среди французских слов, которые им предшествуют, эти вот-вот прозвучат колокольным звоном. Ничуть не бывало. Они окажутся скорее насмешкой или пародией.

Они отнюдь не невинны. Насмешка двусмысленна — двусмысленностью сатиры. Не вполне понятно, над кем здесь насмеваются, — над русским или над французом: над русским, играющим во француза, или же над ограниченностью француза и его языка, которому подобное выражение не под силу. В любом случае слова эти напомнят, что какие бы уступки ни делались французскому языку, а следовательно, и французам, по отношению к ним слова сохраняют свою независимость или даже русскую усложнённость. И вот уже Анна Шерер успокаивает своего гостя: «Ну, здравствуйте».

И в этом контрапункте — логика: француз остаётся маской, которую надлежит носить в обществе; соблюдая хорошие манеры, не следует снимать её, но следует напоминать, что это всего лишь маска, за которой ещё жива древняя истина, то есть напоминать, что я — русский, превосходно владеющий французским и владеющий им настолько хорошо лишь затем, чтобы иметь возможность насмеяться над ним и тайно, в глубине души и в единении со своей русскостью, наслаждаться — той наивысшей человеческой истиной, которая воплощена лишь в русском человеке.

Так одной фразой второстепенного персонажа Толстой — впрочем, странно было бы удивляться его гению! — создаёт описание этого раздвоения русского-петербургского «Я» на заре девятнадцатого века, раздвоения, которое породит «сиамских близнецов»: галломанию и галлофобию. Как не презирать ту часть себя, которая говорит по-французски, думает по-французски, а между тем она не более чем маска, в которой должно появляться в обществе. Трудно не объявить ей войну, когда Француз вот-вот захватит душу, как он уже захватил страну. Это полыхает «внутренняя» Москва, и этим огнём выжигают в себе не только то, чему поклоняются и что обожают, но и самые основы своего дневного поведения.

Откуда приходит этот Русский, где рождается этот Петербуржец, психологическая сложность которого, отчасти сформированная его двуязычием, как через литературу, так и личным общением, вот-вот очарует Европу, а точнее, весь цивилизованный мир? История эта длиннее и необычайнее,



чем может показаться. И восходит она не к Петру I, а к Кириллу и Мефодию — двум монахам, получившим дозволение перевести Ветхий Завет и Новый Завет на славянский язык. Кирилл (827–869) и его старший брат Мефодий (815–885) создали кириллическую азбуку (нечто вроде видоизменённого греческого алфавита) с одной лишь целью — точнее передавая на письме речь славян, обратить их в иную веру.

Нам до сих пор неизвестно, что именно двигало этими славянскими «апостолами», когда они добивались права проповедовать и учить не на греческом языке. Но кажется очевидным, что особенности этого обращения в христианство — в самой истории славянских народов. После того как Константинопольский собор (870) постановил принять в лоно Восточной Церкви Болгарию, при святом князе Борисе первой объявившую христианство государственной религией, византийский император спешно отправил туда двух братьев из Салоников, где были распространены славянские языки. Несомненно, Собор намеревался высвободить и византийское духовенство, и новообращённых из-под римской гегемонии. Неоднократно отзываемый в Рим Мефодий в 880 году, по-видимому, одержал победу. Торжествуя на Западе, латинский мир вынужден был отступить от славян — сербов, болгар и русских.

Принятые решения туманны, действия противоречивы. Здесь, как это нередко бывает в истории, понимаешь, что стороны ссорятся по ничтожным поводам, никогда не угадывая ни суть, ни величину ставки в игре. Лишь напомним о той длительной борьбе, о жестоких войнах, ценой которых на Западе были переведены с греческого и латыни основные христианские тексты, и об исторических последствиях этого ставшего сакральным барьера между языком жизни и языком вероисповедания.

Здесь неуместно, да и я недостаточно осведомлён, чтобы разбираться в этой путанице отношений между Западной и Восточной Церквями в девятом столетии. Удивительным остаётся тот факт, что греческий язык, принятый античным миром со времен Птолемея как язык культуры и продолжавший существовать как язык-койнэ в Византии, не навязал себя Восточной Церкви; ему не удалось стать священным языком или — что почти тождественно — языком святости, которой была наделена латынь с первых веков и на протяжении столетий, а арабский язык — и по сей день.

Старославянский, предназначенный способствовать обращению славян в иную веру, был затем разрешён, сохранён и возвышен до ритуального, до языка церкви, языка, на котором можно говорить с Богом и иметь надежду быть услышанным.

Известна цена, в которую Западу обошлось право иметь единственный «священный» язык, в том числе войны в ходе борьбы за и против сохранения этого его статуса. Зато и тогда, когда в результате этих войн французский язык мог бы прийти на смену латыни, просвещённые круги всего католического сообщества учились говорить на ней. Отношения между родным языком и латынью обрели гармонию — и границы между ними

стали естественными. Тем более в Петербурге, где латынь была обезличена, естественными казались те особенности мировосприятия, которые она, поставленная на службу Богу и почти неотделимая от Него и Его заповедей, навязывала и разуму, и душе. Богослужение и культура обрели в латыни основной язык международного общения; и никто не видел, никто не чувствовал, как через него некий римлянин в тоге и сандалиях навязывает всем свой карнавальный костюм, свою личину, свою гримасу.

Иначе произошло в православном мире: отказ от греческого, принятие родного языка позволили избежать трагических событий, заливших Запад кровью во времена Реформации.

Но тем самым православный мир оказался лишённым языка международного. Говоря на языке страны или его варианте, Бог и Церковь не направляли верующего во внешний мир, а укрепляли его личностное начало. В католических странах латынь противопоставит интимность коллективную интимности индивидуальной, внушит чувство Единения, которое должно углубить и укрепить веру в Бога. Старославянский же, напротив, будучи языком матери и уже став языком родины, окажется единым и для личной, и для общественной жизни. Как следствие, личность, индивидуальность укрепляется, черпая в божественном силы быть собой или к себе вернуться. Вместо того чтобы учить приятию действительности со всей её инаковостью и предметностью, вера уводит внутрь, в сокровенное. Она поддерживает деяния народа, обосновывая их справедливость и обогащая их. То есть Бог, как и мать, говорит по-русски.

Здесь несомненно усиление личностного начала, но также и своего рода детскость. Коль скоро взрослость предполагает выход за пределы (во всех возможных смыслах) своего «Я», умение жить среди других, то очевидно, что вера, говорящая на языке души, не может вас туда вывести. Бог не готовит к жизни в обществе, а пестует только сердце. Объективная действительность — не более чем горизонт, и вместо того чтобы идти к нему, следует посвятить себя чистосердечию, искренности, которые несомненно ведут к Богу, но не обязательно магистральными дорогами действительности. То есть наш петербуржец, чтобы выйти в мир, вынужден был учить язык вдвойне чуждый — чуждый и его «Я», и Богу. Это противоречие и эта «эмиграция» из самого себя станут призванием петербуржца.

Бог должен быть всеобщим. Ему свойственно оказывать центробежное давление, заставляя «Я» выйти в мир. Но православный Бог говорит по-русски, и это давление будет менее явственным и в меньшей степени противопоставит себя центростремительной силе, направляющей человека внутрь самого себя. Вот почему задача, поставленная перед петербуржцем, окажется особенно трудной, и, следуя за своим призванием, он будет вынужден бороться с самим собой и отречься от своего языка.

Суть этого призвания, как мы видели, прозрачна. Хотя по уже названным причинам мы испытываем недоверие к беспрестанно повто-



ряемым стихам о Петре и окне в Европу, поскольку пришлось бы допустить, что Европа существует, а Россия не есть часть её; этих двух опасных заблуждений многовато для полутора строк, пусть и подписанных самим Пушкиным. Пётр сломал преграду, проложил дорогу, однако она вела не в непостижимую Европу, но, конечно же, в действительность рубежа XVII–XVIII веков, в ту современность, в то настоящее. Петербург — воплощение этого пробуждения, посвящённый ему монумент. Ещё точнее, он — столица той современности, так как, единственный среди городов, был возведён с одной лишь целью — подступиться к современности, прославить и увековечить её.

Но Петербург и столица государственного устройства, уклада жизни и мировосприятия, которые он, единственный, следуя чёткому замыслу, смог воплотить в жизнь. Но сейчас не об этом. Вернёмся к жителю этого города и увидим: франкофобия — это тень франкомании и может лишь тянуться следом за нею. Действительно, каким образом формируется «Я» нашего петербуржца? Его призвание, как мы уже сказали, — удостоверить присутствие России в настоящем. Он должен стать тем окном, которое Россия открывает в *hic et nunc*<sup>1</sup> этого столетия, в *hic et nunc* Европы, частью которой является. А это настоящее разговаривает по-французски. Чтобы быть причастным к нему, придётся поступать так же. Несомненно, как заметил Сихам Иссами (Siham Issami), — рассуждая, впрочем, не о славянском, а об арабском языке, — ситуация могла бы оказаться проще, будь более значительными различия между разговорной речью и религиозным языком, пусть и восходящими к общим корням: высвободилось бы пространство для языка иностранного, необходимого, дабы заполнить пустоту и обращаться к действительности, — французский и здесь и там.

Как бы там ни было, чтобы заполнить пустоту, взяв на себя эту роль, петербуржец будет вынужден не только говорить на языке настоящего, но и переустраивать окружающий мир под этот язык и стать в империи глашатаем настоящего. Дабы играть такую роль, дабы восстановить это сегодня века и настоящее вещиности, он должен будет разбить внутреннее окно — из стекла гораздо более прочного и менее прозрачного, чем то, которое отделяет от непостижимой Европы и частью которой петербуржец является. Если бы даже (вернёмся к рассуждениям Сихама Иссами) пространство для повседневного языка оставалось незаполненным, решение обратиться к нему потребовало бы невероятных усилий, ибо он — человек, и в нём живёт тоска по возвращению в потерянный рай и по сокровенности. Ибо он — русский, и язык Бога и язык матери смешаны в нём, вынужденность покидать интимную полутьму души становится для него особенно болезненной. Возвышенный отцовский образ и реальность матери с её эмоциональной, почти телесной и использующей те же самые слова властью стремятся сблизиться в устройстве и виде-

<sup>1</sup> Здесь и сейчас (*лат.*).

нии того мироздания, которое они предлагают, но сблизиться где-то в глубинной светотени души. И — вдруг — её надо покинуть ради торжественного настоящего, ради сегодня. Французский язык врывается и обольщает.

Как не раздражаться на него? И чем глубже он в вас живёт, тем большее раздражение вы испытываете. Он — выражение суровых законов взрослого мира, язык данности; язык, который Гончаров (хотя и не столь свободно им владел) единственный из русских решился защищать от губительного, смертоносного сна Обломова.

Эта великая повседневность ничуть не дружественна и не намерена таковой стать. Напротив, она требует ограничивать и обуздывать чувства, отдавать ей своё сердце, даже если, возвращаясь к себе, вы рискуете не суметь вновь обрести его. Речь идёт не только о словах. Невозможно не ощущать, как по следам своего языка крадётся сам Француз и вот-вот водворится в ваше «Я» и обустроится в нём. Вы вовсе не любите его, этого чужака-иностранца, который мало-помалу овладевает вашим «Я», для начала захватив ваше средство общения, а затем навязывая вам видение — нет, даже понимание — мира. Француз завоёвывает чувства, завладевает эмоциями, и по мере того как отдаляются Бог и материнское начало, ваше «Я» перестаёт опознавать самоё себя.

Вскоре вы начинаете бояться, что ваше «Я» будет преследовать вас, боитесь вновь обрести его — изгнанника, чуждого самому себе, своей подлинности; артефакт, куклу, марионетку. И вот тогда возникает соблазн, в непротивлении которому Сихам Иссами изобличил марокканца-современника, — соблазн стать подобием куклы, присвоив её смысл и маску, поскольку это единственный путь, ведущий в современность.

Не так ли ведёт себя петербуржец? Его франкофобия, по крайней мере на протяжении двух столетий, когда он вынужден играть предписанную ему роль, — это, по сути, упрёк в неаутентичности самому себе. Этот упрёк более чем обоснован, но лишь при условии что его адресат — не Француз как таковой, не Франция, а тот, кто живёт в петербуржце, кто принуждает к этой мимикрии ради призвания, ради осуществления петровских планов и сохранения себя в обществе. Именно против этой внутренней марионетки были направлены и гнев и презрение. Человек, которого он желает разоблачить, — это тот, кем он сам вынужден был стать и кто лжёт самому себе.

Примеры мы можем найти у Фонвизина, которого Пушкин причислил к лику «друзей свободы», — «Блистал Фонвизин, друг свободы». А. Стричек в своём глубоком исследовании «Денис Фонвизин» убедительно показывает, что благодаря его творчеству, и в частности его владению русским языком, освобождённым и от влияния старославянского, и от подспудного построения фраз на французский манер, народ избавился от сомнений в самобытности и ценности своей собственной культуры. Очевидно, что истоки галлофобии Фонвизина — в политической ситуации, вызванной

изнуряющими войнами с Турцией, которые Франция то неявно и косвенно, то в открытую поддерживала. Его упрёки небесхитростны. С прищипом ему остроумием он уверяет, что если бы петербургская глупость облагалась налогом, сундуки Франции оказались бы заполненными. Всё понятно: глупцов создаёт Франция. Но глупцы-то эти — русские.

В «Письмах из Франции» Фонвизин не перестаёт ужасаться смраду и узости средневековых улочек французских городов, забывая, что просторные дороги Санкт-Петербурга и современности созданы по образу и подобию Версаля. Он осуждает падение нравов, в результате которого французы, пусть и объявляя себя свободными, превратились в рабов. Однако в раздражённой досаде угадывается чувство облегчения, когда он признаёт, что «у вас как у нас» и что можно больше не краснеть за «азиатскую деспотию», подданным которой он является. Между тем довольно неожиданно Фонвизин стал единственным, кто отдал дань уважения «сердечной доброте», беззаветной любви к родине и исключительному вкусу французов.

Согласно Фонвизину, русский крепостной счастливее французского крестьянина — может, и свободного, но задушенного налогами. Как бы чудовищно это ни звучало, но русский крепостной в своём рабстве окружён чувствами, проявлявшимися порой в жестокости, даже садизме, — но всё же чувствами! — которых французский крестьянин был лишён. Вывод Фонвизина: мы, русские, более человечны, чем они, французы.

Сразу оговоримся, что подобная мысль не могла бы родиться у жителя российской глубинки, и не только потому что он, вероятнее всего, никогда не слышал о французах, а просто потому что сама мысль о таком сравнении никогда бы не пришла ему в голову. Это идея франкоязычного петербуржца, который, чтобы соответствовать своему призванию и своему положению в обществе, должен говорить, а значит, и думать по-французски. Будучи положенной на бумагу, фонвизинская мысль предстаёт абсурдной и даже шокирует своей абсурдностью. С другой стороны, если мы сообразовали вспомнить, что упомянутый Француз — Француз внутренний, отпечаток себя, созданный под давлением истории и общества, творение центробежной силы, в борьбе торжествующее над творением той, центростремительной, которое благодаря языку, одновременно личному и общему, материнскому и религиозному, сопротивляется и утверждает себя в интимной истине, то мы поймём суть высказывания Фонвизина и даже его агрессивность. Она тем более объяснима, что направлена против неуловимого призрака — Француза! И какова бы ни была власть французского языка, Француз остаётся его создателем, а следовательно, сохраняет свою от него свободу.

Не иначе и у Грибоедова. Как бы ни язвил Чацкий, какую бы горечь он ни испытывал, разоблачая общество, переустроенное «под француза», с чужеродными языком, нравами и обычаями, критика сравнит героя с Альцестом, а для автора и его успеха не найдёт иного сравнения, чем с Мольером и его славой. Сравнения эти вполне справедливы; рассуждать о них

мы здесь не станем. Самобытность же сюжета не подлежит обсуждению: и Мольер не стеснялся признавать, что черпает своё вдохновение и свои сюжеты везде, где бы их ни находил. Но эти прямые сопоставления в очередной раз доказывают, что франкомания стала тюрьмой, и как за вдохом следует выдох, так не могло не прийти отвращение к этой тюрьме — франкофобия. Это призвание петербуржца, петербургская болезнь... Но излечиться Петербург может лишь потеряв своё предназначение и свой облик, даже если волны времени увлекут их так далеко, что французские черты станут едва узнаваемы в воплощённой самобытности города, его добродетелях и ностальгии по этим чертам.

Мы видели, как Француз заставил русское сердце поступиться детством и интимностью. А посему очень занятно, что именно России довелось развивать у французов дух детства. Я имею в виду, конечно, графиню де Сегюр. Её произведения не оказывали такого влияния на умы, как творчество Толстого, Достоевского, Чехова или как русский балет. Быть может, это влияние и менее осознаваемое, но глубоко воспринимаемое. Мы все вышли из детства, и всё то, что мы узнали тогда, запечатлелось в нас тем сильнее, чем меньше у нас было возможностей и желания этому сопротивляться.

Графиня де Сегюр — урождённая Ростопчина, как это знают (или знали) большинство французских малышей. В своих книгах в красной обложке с золотыми буквами она никогда не забывала добавлять к звучащему столь благородно и красиво «графиня де Сегюр»: «урождённая Ростопчина». Она не преминула поместить это уточнение даже в посвящении маленькому сыну. Сколь удивительны переплетения нитей, соединяющих наши страны: Ростопчин, отец нашей графини, — тот самый московский генерал-губернатор, которому приписывают фатальный для французской армии поджог Москвы. И этого не забыли. Это одна из самых необычных страниц наших взаимоотношений, именно на неё ссылается маркиз де Кюстин, дивясь в своей слишком уж знаменитой книге о России поведению генерал-губернатора и странности, даже непостижимости русского характера. Поскольку Ростопчин всё настойчивее продолжал отрицать, будто это он отдал приказ поджечь Москву, наш маркиз недоумевает: величайшая слава спасителя Отечества — и с таким упорством отвергается! Подобная мысль никогда бы, кажется, не пришла в голову нашему маркизу при всей его утончённости: отказать от великой, пусть и неоднозначной славы на том лишь основании, что ты не властен над событиями, а потому не заслуживаешь её. Как бы там ни было, поджёт или не поджёт, но «Ростопчин» — неблагозвучно для французского уха и из-за нагромождения согласных, воспринимаемых

как варварская речь, и из-за воспоминаний, более или менее осознанных, с которыми ассоциируется это имя.

И вот именно Ростопчина будет воспитывать французских детей и учить их чувствовать. Ирония ли судьбы, замкнутость ли дворянской среды привели её к браку с графом Эженом де Сегюром, племянником того самого адъютанта Наполеона — Филиппа-Поля де Сегюра, который следовал в арьергарде с маршалом Неем, мог десять раз погибнуть во время отступления и оставил нам его превосходное по правдивости и стилю описание? Эжен де Сегюр оказался плохим мужем: он навещал жену только ради того, чтобы сделать ей восемь детей. У графини начались нервные срывы, свойственные женщинам, которыми пренебрегают; неоднократно возобновляясь, срывы привели к афазии<sup>2</sup>.

Не эти ли приступы вложили перо в её руку? Писать она начала в возрасте 58 лет; всё её творческое наследие — главным образом истории, сочинённые для сыновей, дочерей, внуков и внучек, — обращено исключительно к детям, посвящено изображению и толкованию мира детства. На протяжении почти двадцати лет она издаёт книгу за книгой. За реалистичность изложения, подменившую внутренний идеализм, и творческую плодовитость она заслужила прозвище, или шуточный титул, «детского Бальзака».

Её произведения очень по-разному истолковывали. Одни усматривали в них, в этих шлепках и оплеухах, скрытый в самой Ростопчиной бог знает какой садомазохизм. Другие, напротив, воспринимали её тексты как горячий протест против телесных наказаний. Её творчество — это, несомненно, апология хорошего воспитания, стремление к реалистичности (многочисленные и подробные описания лекарств), протест против насилия, изобличение озлобленности.

Герои её рассказов — маленькая образцовая девочка и маленький Добрый Дьяволёнок. В чём они более русские и Ростопчины, чем французы и Сегюры? На этот вопрос нет ответа. Детство — едино. И то, что мы могли бы назвать культурой детства, когда оно проявляет себя — рисунком или словом, выбранной сказкой и вымышленными историями, мечтами и поведением, — то обнаруживает, вопреки всем навязанным особенностям воспитания, различиям, искривлениям, невероятное, поразительное единство. Действительность же такова, что Ростопчина научила французских детей быть самими собой, поведала им, кто они есть, научила мечтать их о настоящем и будущем — и всё это стало значительным событием для русско-французских отношений в их глубинной сути.

В её текстах — лишь одно неоспоримое присутствие России: генерал Дуракин, именование которого «слишком русским» точно определяет отведённую ему роль. Набоков уверял, что в книгах графини воссоздана непод-

<sup>2</sup> Расстройство речи.

ражаемая атмосфера аристократических семей старой России, особенный сплав нежности и строгости. Набокову стоит доверять. Он знает, о чём говорит, и редко проявляет снисходительность по отношению к писателям.

Мы не отважимся безоговорочно полагаться на его суждения: если бы автором книг, на которых рос каждый ребёнок буржуазной среды в XIX–XX веках, была графиня де Сегюр по рождению, а не ставшая таковой в замужестве, так ли уж сильно отличались бы её книги по тематике и силе воздействия? Вероятно, даже определённно — да. Но что же именно чисто русского в невзгодах Софи, бедняги Блэза и Доброго Дьяволёнка — это нюанс настолько тонкий, что его почти невозможно уловить и тем более выразить. Быть может, это некие отношения между существами, гармония которых создаётся определённой дистанцированностью чувств, строгостью столь выверенной, авторитетом столь непререкаемым, что может позволить себе любые проявления нежности и заботы. В России непререкаемость власти в семье была подобна власти государственной и, как мы знаем, оставалась таковой до социальных взрывов 1917 года. В лоне семьи вплоть до юношеского возраста (но этот возраст уже не интересуется нашу графиню) будут царить мир и любовь — тем более свободная в своих проявлениях, чем чётче обозначены её границы. Это всего лишь предположение. Но предположение забавное и даже соблазнительно-лукавое: французский ребёнок втихомолку воспитан *à la russe*.

Несомненно одно — и только это одно принимается в расчёт: я видел, как маленький огонёк загорается в глазах петербуржца, когда он упоминает о Париже. В глазах парижанина, который упоминает о Санкт-Петербурге, — я видел — загорается маленький огонёк. И думается мне, это один и тот же огонёк.

*Авторизованный перевод с французского А. Ю. Беспярых  
Редактор перевода Ю. Н. Беспярых*